



ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Испытание в грозе и буре

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Александр Блок

1

Два испытания — одно вслед за другим и одно вследствие другого — пали тяжким бременем на плечи Атланта, поддерживающего устои старого мира¹. Испытания огненные, испытания грозовые.

И первое испытание — испытание огнем мировой войны — сразу испепелило ростки братства «международного», и на пожарище его укрепило цементом «национальной» злобы устои старого мира². Ибо национальная рознь — крепкий цемент для старых кирпичей; пока есть она — Атлант может быть спокоен: своды не обрушатся, не погребут его под развалинами.

Но огонь, обжигающий кирпичи, укрепляет своды лишь до того мига, пока не перейдет он в пламя испепеляющее, пока из огня-раба не станет он огнем творческим, пока из огня кухонной плиты не станет он огнем молнии. И тогда — горе устоям Атланта! Ибо —

Есть суд всего, что дышит, живет и растет —
суд огнем.

Огонь

последний судия — все судит и все разрешает.

А молния — кормчий.

Последнее испытание
через огонь.

Так слышим мы в «Предании от Гераклита Эфесского» (А. Ремизов)³; так знаем мы: мировой огонь обрушит на Атланта своды старого мира. И пришел огонь — в грозе и буре. Молния — кормчий...

И второе испытание — испытание в грозе и буре революции — сразу расшатало крепкие своды; мировой вихрь вновь понес на старое пожарище весенние семена «международного братства», ринулся на старые устои, покачнул великана Атланта, обрушил часть сводов на головы властителей старого мира.

И как тогда не выдержали «властители дум» испытания огнем войны, так не выдержали они теперь испытания в грозе и буре революции: испугались, пали духом, озлобились, возненавидели, понесли свои кирпичики для спешной поддержки устоев Атланта, поспешили, добродетельные муравьи, скорее вновь лепить разбросанный бурей мещанский муравейник...

Муравьи, мириадами тел, могут потушить пылающий огонь. Потушат ли? Да, если не разгорится он в мировой пожар. Разгорится ли? И с надеждою одни, со страхом другие — ждут: удастся ли старому миру сотнями тысяч тел погасить огненный вихрь, удастся ли ему гекатомбой трупов укрепить расшатанные устои? Ибо если одна лишь революция русская такой грозой и бурей обрушилась на старые своды, то что же будет при революции мировой?

А что это *будет* — все знают, «не зная ни дня, ни часа»: будет раньше или позже, будет «наперекор стихиям», будет, несмотря на гекатомбы тел и даже вследствие их: ибо если есть на земле неискупленные страдания, то зато нет на земле неоправданной жертвы.

Все муравьи это знают — и боятся, злобятся, ненавидят, тупшат мировой огонь ковшиками злобы, пригоршнями мелкого ненавистничества. Подлинно: какие огромные события, какие маленькие люди!

2

В зеркале русской литературы, «как солнце в малой капле вод», отразились мировые события — и как мало оказалось в ней людей, которые увидели бы размеры совершающегося, почувяли бы веяние мирового вихря, отдали бы свои творческие силы не оплакиванию и поддержке старого, а строению и рождению нового! О мелкой злобе, о ядовитых брызгах слюны — я уже и не говорю: разверните любой газетный лист, любую книгу этих стражей и блюстителей старого Атланта...

Есть там и искренняя боль за старое, исконное, навеки уходящее, есть и мелкая трусость придавленного вихрем «взбунтовавшегося раба». Ибо, поистине, вот где его царство: в русской литературе, а не в казарме, не на фабрике, не в деревне. Взбунтовавшимся рабом оказался вчерашний «властитель дум», русский писатель во всей своей массе. Стоит ли называть имена?

Звали они революцию — и пришла она. Но пришла не в тишине, не в тихом пламени неопалимой купины, а в грозе и буре народного вихря. Ждали они ее в виде разубранного флагами корабля, торжественно салютующего холостыми зарядами, — пришла она в вихре пыли, грязи, крови, среди бурных валов бушующего моря. И мимо них проходит корабль революции — они с ужасом отвернулись от него.

Не узнали они друзей моряков,
Им знакомых давно,
Не узнали снастей, ни их парусов,
А сами соткали для них полотно —
Слепые, косные люди!⁴

И проходит мимо них этот корабль — «для тысячей нем, не понят никем, ибо слишком он был непохож на скучную ложь — на рассказы учителей местных» (Э. Верхарн)... И в мелкой злобе своей, а порою и в искренней боли своей, не слышат и не видят эти «местные учителя» и их ученики того, что так ясно, казалось бы, для каждого, имеющего очи, чтобы видеть, имеющего уши, чтобы слышать.

Но есть и видящие, и слышащие. От «народных» глубин, от «культурных» вершин — поэты и художники радостно и скорбно, но чутко и проникновенно говорят нам о свершающемся в мире. Не боятся они грозы и бури, а принимают ее всем сердцем и всею душою: «Вестью овеваны — души прострем в светом содеянный радостный гром» (Андрей Белый)⁵. Так говорит один, и отзывается ему другой: «Грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл, — новый Содом сжигает Егудиил» (Сергей Есенин)⁶. От вершин, от глубин — чутко чуют они то новое мировое, что идет теперь в грозе и буре революции: разрушение Содома старого мира, гибель Атланта и рождение, осуществление новой России, новой Европы, нового мира.

Видит это мировое и Александр Блок, поэт розы и креста⁷. И подлинно — крест видит он на русской революции и розой венчает ее. Давно не писал он ничего подобного поэме своей «Двенадцать» — да и писал ли? Лицом к революции, лицом к России стоит здесь поэт — и принимает, и понимает, и любит,

и скорбит, и видит мировое значение совершающегося. Лицом к Атланту старого мира становится он в другом своем произведении, «Скифы», не менее замечательном, — и негодует, и предостерегает, и клеймит... Если бы даже ничего иного не дал русской литературе год революции (а он дал нам и стихи Н. Клюева, и поэмы С. Есенина, и еще никем не оцененного изумительного «Котика Летаева» Андрея Белого, и плач «о гибели земли русской» А. Ремизова)⁸, то все же после «Двенадцати» и «Скифов» год революции явился бы богатым годом русской литературы.

3

«Двенадцать» — поэма о революционном Петербурге конца 1917 — начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о преступлении, о падении человеческом. Это — в одном плане. А в другом — это поэма о вечной, мировой правде той же самой революции, о том, как через этих же самых запачканных в крови людей в мир идет новая благая весть о человеческом освобождении. Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники.

В пятой главе Деяний апостольских рассказывается, с ясным челом, как апостол Петр убил (не из «винтовочки стальной», а словом уст своих) мужа и жену, Ананию и Сапфиру, за то, что утаили они часть имущества своего от христианской коммуны: «паде же абие перед ногами его, и издше»... «И бысть страх велик на всей церкви», — эпически прибавляет бытописатель⁹. Что же, и здесь Христос? Здесь его нет, но мимо этого, над этим — идет он впереди двенадцати, посланных им в мир.

И впереди «двенадцати» поэмы — двенадцати убийц, — впереди разыгравшегося с красным флагом ветра —

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос...

И не может он не идти впереди этих «двенадцати», если подлинно за ними, хотя бы и помимо них, стоит то мировое, которое слышится нам теперь в грозе и буре.

Благая весть раздалась двадцать веков тому назад — весть о духовном освобождении человечества. Благая это была весть и великая, ибо духовное освобождение человечества не подразумевает ли собою и освобождения физического? Оказалось —

нет, не подразумевает. Возлюбим ближнего, как самого себя, — это внутренне, духовно; а внешне, физически — будем по-прежнему продавать его в рабство, предавать его казни. Формы рабства и казни менялись с веками, становились все утонченнее и больше: от рабства физического — к экономическому, от рабства экономического — к духовному. Так от духовного освобождения пришла христианская культура к духовному рабству. И стало ясно: кроме внутренней свободы, возвещенной христианством, в мир должна прийти свобода внешняя — полное освобождение политическое, полное освобождение социальное.

Благуя весть мировой социальной революции старый мир наших дней принял так же враждебно, как старый мир эпохи Петрония принял благуя весть революции духовной. Но с той революцией старый мир справился очень скоро: увидев, что борьба извне невозможна, он вошел в революцию и покорил ее своему духу. Старый мир — «принял» христианство.

Тогда мало-помалу выяснилась «неудача» христианства: оно «не удалось», ибо путь от духовной революции к социальной оказался перерезанным: старый мир с мечом в руках стоял на этой дороге внутри самой христианской коммуны. И через два тысячелетия человечество пришло к обратному пути — от социальной революции к духовной. Впереди — победа социальной коммуны; но еще долго старый мир будет становиться на пути этой мировой революции. Будут бороться с ней извне все те «буржуи», о которых говорится в поэме «Двенадцать»; будут бороться с ней изнутри более опасные враги — различные волки в овечьих шкурах.

Трудна дорога, и победа придет еще не скоро. Она придет, вероятно, лишь тогда, когда ясно станет человеку, что нет полного освобождения ни в духовной, ни в социальной революции, а только в той и другой одновременно. Но очистительная гроза и буря мировой социальной революции таит в себе великую правду. Правды этой не видят многие «писатели», «витии», «барыни в каракулях», но ее видят и чувствуют многие и многие среди выделивших из себя «двенадцать». И за эту правду, помимо их воли через них идущую в мир, поэт «белым венчиком из роз» украшает чело великой русской революции.

Снежная вьюга революции начинается с первых же строк поэмы; и с первых же строк ее черное небо и белый снег — как

бы символы того двойственного, что совершается на свете, что творится ныне в каждой душе.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек...

Так через всю поэму проходят, переплетаясь, два внутренних мотива. Черный вечер — кровь, грязь, преступление; белый снег — та новая правда, которая через тех же людей идет в мир. И если бы поэт ограничился только одной темой, нарисовал бы или одну только «черную» оболочку революции, или только ее «белую» сущность — он был бы восторженно принят в одном или другом из тех двух станов, на которые теперь раскололась Россия. Но поэт, подлинный поэт, одинаково далек и от светлого славословия и от темной хулы; он дает двойную, переплетающуюся истину в одной картине:

Черный вечер.
Белый снег.

Вся поэма — в этом.

И на этом фоне, сквозь белую снежную пелену рисует поэт черными четкими штрихами картину «революционного Петербурга» конца 1917 года. Тут и огромный плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», и «невеселый товарищ поп», и старушка, которая «никак не поймет, что значит», и оплакивающая Россию «барыня в каракуле», и злобно шипящий «писатель, вития»... И так все это мелко, так далеко от того великого, что совершается в мире, так убого, что «злобу» против этого всего можно счесть «святой злобой»:

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба!

И вот на этом фоне, под нависшим черным небом, под падающим белым снегом — «идут двенадцать человек»... О, поэт насколько не «поэтизирует» их! Напротив. «В зубах — цыгарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз!» А былой товарищ их, Ванька, — «в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой» — летит с толстоморденькой Катькой на лихаче, «елекстрический фонарик на оглобельках»...

И этот «красногвардеец» Петруха, уже не раз бросавшийся с ножом на Катьку («У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа, у тебя под грудью, Катя, та царапина свежа!»), этот Петруха, уложивший уже офицера («не ушел он от ножа!»), а теперь угрожающий расправою и новому сопернику: «Ну, Ванька, сукин сын, буржуй! Мою, попробуй, поцелуй!» И сама эта Каллипига Невского проспекта («больно ножки хороши!»), эта толстоморденькая Катя, которая «шоколад Миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла»... И эти товарищи Петрухи, без минуты раздумия расстреливающие мчущихся на лихаче Ваньку с Катькой: «Еще разок! Взводи курок! Трах-тарарах!»... И убитая Катька — «лежи ты, падаль, на снегу!» И насмешки товарищей над Петькой, помянувшим имя Христа: «Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас золотой иконостас? — Бессознательный ты, право; рассуди, подумай здраво — али руки не в крови из-за Катькиной любви?»

Это ли апостолы новой благой вести? Это ли те «двенадцать», которым предшествует «в белом венчике из роз, впереди — Иисус Христос»? Или и на этот раз он «со беззаконными вменился»? Или и на этот раз «беззаконство» хоть и не прощается, но покрывается чем-то высшим?

Смерть Катьки не прощается Петрухе. «Ох ты горе-горькое, скука скучная, смертная!» И пусть не раскаяние, а новая злоба лежит на его душе — «уж я ножичком полосну, полосну! Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку за зазнобушку чернобровушку!» — но гнета не снять с души: «Упокой, Господи, душу рабы твоея... Скучно!» И разве в раскаянии тут дело? Правда, «разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи»¹⁰, — но что знаем мы о другом разбойнике, «безумном»? И в крови скольких женщин и детей были, быть может, обогрены руки его «благоразумного» товарища, сораспятого Христу евангельского «злодея»? И ему — прощение, ему — рай за «раскаяние», за «помяни мя Господи»? И злодейства «двенадцати» тогда не покрываются ли тем, что стоит за ними, не черной стихией, а светлым сознанием? Пусть кажется им, что идут они против Христа, против креста —

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та! —

но все же впереди них роза и крест в нижней поступи надвьюжной, в снежной россыпи жемчужной...

Черное не прощается, черное не оправдывается — оно покрывается той высшей правдой, которая есть в сознании «двенадцати». Они — темные убийцы, злодеи (нарочно ведь взял поэт именно таких!) — они чуют силу и размах того мирового вихря, песчинками которого являются. Они чуют и понимают то, что злобно отрицает и «писатель, вития», и обывательница в каракуле, и «товарищ поп» и вся духовно павшая «интеллигенция» в кавычках. И за эту свою правду — «пошли наши ребята в красной гвардии служить, в красной гвардии служить, буйну голову сложить!» За эту правду они и убивают, и умирают. Знают ли они, что идут против мирового Атланта, что все своды его старого здания предают огню? Знают — и в этом их благая весть мировой социальной революции:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!

Правда, сами не знают они, какого они духа, сами не знают, насколько совершающееся ныне в мире глубже видимой им внешности «буржуев» (а может быть, не знают, но чуют? — ведь «мировой пожар в крови»!). Но знают они твердо, что к старому миру возврата нет, что «Святая Русь» лежит по эту сторону разделившей всех нас пропасти (и ненавидят же их за это все заупокойные плакальщики о России!). Знают они, что «Святая Русь», что весь старый мир — отныне худшие и неприимейшие их враги. Знают — и зовут: «Вперед, вперед, рабочий народ!»

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!

И знают они, что борьба предстоит упорная, долгая, чуют они, что Атлант до конца будет стоять горой за кирпичи старого мира. И через кровь, через злодеяние слишком легко, быть может, готовы они перешагнуть: «Потяжеле будет бремя нам, товарищ дорогой!» Это бремя — бремя тяжелой борьбы со ста-

рым миром, который теперь «хвост поджал — не отстаёт», но который ещё обратится в злобного волка, отстаивающего свою старую нору мещанского мира. Не могучим Атлантом, а побитым псом представляется теперь «двенадцати» (и поэту!) старый мир. Он разбит в первой схватке — и идут дозором «двенадцать», твердо зная, что «вот — проснется лютый враг»...

Так от реального «революционного Петербурга» поэма уводит нас в захват вопросов мировых, вселенских. Все реально, до всего можно дотронуться рукой — и все «символично», все вещей знак далеких свершений. Так когда-то Пушкин в «Медном всаднике» был на грани реального и над-исторических прозрений.

Да, такие сокрушающие сравнения выдерживает поэма Александра Блока. «Как будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой»¹¹ — заканчивается в наши дни. Конец петровской России — конец старого мира. Было время его славы, расцвета, могущества, — и бережно понесем мы в новый мир вечные «эллинские» ценности мира старого: не испепелятся они и в огне. Но временные ценности его падут прахом в грозе и буре, в разыгравшейся вьюге. В просветы ее мы видим и теперь: на том самом месте, где прервалось тяжело-звонкое скаканье Медного Всадника, там теперь — «над невской башней тишина». Где же Конь? Где же Всадник? Их нет. И там, где был Конь, — там теперь стоит «безродный пес, поджавши хвост»; там, где был Всадник, там, где в «неколебимой вышине над возмущенною Невою стоял с простертою рукою кумир на бронзовом коне», — там теперь «стоит буржуй на перекрестке и в воротник упрятал нос»...

Атлант, поддерживающий своды, — и «буржуй», упрятавший нос в воротник: кто, кроме поэта, может так сорвать маску с мировой сущности?

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавши хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес, голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный
Стоит за ним, поджавши хвост...

Куда же девалось убийство? Где же Катька? Где Петруха? Все там же. Лежит убитая Катька — «мертва, мертва! Простре-

ленная голова»; и у Петьки руки в крови, и ничем не смыть эту кровь. Это — его внутренняя трагедия, если он до нее дорос. Но мировой вихрь, но сознание высшей иной правды, но испытание в грозе и буре — сделали черного злодея одним из «двенадцати».

И разве мы забываем, что у сораспятого «разбойника благо-разумного» руки, быть может, обагрены в человеческой крови? Не забываем и не прощаем, — это только сам Распятый мог простить. Но на высоте мировой трагедии Голгофы говорит ли нам об этой крови «благая весть»? И говорит ли она нам о том, что, быть может, и другой сораспятый разбойник, «безумный», не услышавши слова прощения, вместе с первым «будет днесь в раю»?

На высоте ныне совершающейся мировой трагедии выдерживают испытание в грозе и буре символические «двенадцать». Когда постигаем мы мировой захват совершающегося — нет для нас больше Петрухи, нет цыгарки в зубах, нет примятого картуза, бубнового туза на спине... Или, вернее сказать, — все это есть, но сквозь это, но через это мы видим то, что показывает нам в «двенадцати» поэт. Мы видим, как

...идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

И чудо поэтического творчества заставляет нас здесь, в слове «вдаль», видеть не только петербургские «переулки глухие, где одна пылит пурга», а даль мировую, где «пурга пылит им в очи дни и ночи напролет»... И уже не удивляемся мы, когда, «преображая действительность», поэт через сгорбленные спины, «рваное пальтишко, австрийское ружье» — заставляет нас видеть, как двенадцать «вдаль идут державным шагом»... Ибо видим мы теперь то великое мировое, что таится здесь за малым, слишком человеческим. И вся последняя глава поэмы твердо и чеканно подготавливает нас к последним ее стихам.

...Вдаль идут державным шагом.
— Кто еще там? Выходи!..
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...
Впереди — сугроб холодный.
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
 Я штыком пощекочу!
 Старый мир, как пес паршивый,
 Провались — поколочу!
 ...Скалит зубы — волк голодный,
 Хвост поджал — не отстает,
 Пес холодный, пес безродный...
 — Эй, откликнись, кто идет?

Здесь уже мы чувствуем, здесь уже мы знаем: не забыть нам никогда, что это не шелудивый пес с поджатым хвостом бредет за «двенадцатью», а некогда миродержатель Атлант, в свое время низверженный христианством, но потом сумевший взорвать его изнутри. И не двенадцать «красногвардейцев» видим мы за снежной вьюгой, а «двенадцать», несущих миру новую благую весть избавления. Когда мы увидим, когда мы поймем все это, то поймем и примем всем сердцем и последние строки, так необходимо, так чудесно завершающие эту необходимую всем нам, эту чудесную поэму о новой благой вести, возвещаемой миру:

...Так идут державным шагом.
 Позади — голодный пес,
 Впереди — с кровавым флагом.
 И за вьюгой невидим,
 И от пули неведим,
 Нежной поступью надвьюжной,
 Снежной россыпью жемчужной,
 В белом венчике из роз —
 Впереди — Иисус Христос...

Тот, кто не поймет, тот, кто не почувствует этого, — не почувствует и не поймет всей глубины «древней загадки», ныне снова предлагаемой «старому миру». А кто поймет — тот и разгадает ее правильно. Ибо древняя разгадка — все та же, и гласит она: *человек*¹².

В свое время христианская революция рождала в мир «нового человека», духовно свободного — и потерпела крушение на встречном замысле старого мира: духовно свободного оставить все же физически, экономически, социально, а потому и духовно — порабощенным. С этим «взрывом изнутри» былой духовной революции старым миром вступила теперь в борьбу революция социальная, и ее благая весть — прежняя: освобождение человека. Но на этот раз — освобождение полное: физическое, социальное, духовное.

В грозе и буре революции задана эта загадка старому миру. И Александр Блок сумел показать нам это не отвлеченными

словами, а живой тканью поэтического творчества. Вот почему поэма его «Двенадцать» десятилетия и десятилетия будет жить в русской литературе, являясь откликом души русского поэта на стихию русской, на стихию мировой социальной революции.

7

В поэме «Двенадцать» Александр Блок от революционного Петербурга повел нас «вдаль» — к горизонтам революции мировой, где, стоя на старой земле, грузно поддерживает Атлант старое небо. Новое небо и новую землю дает миру каждая великая революция, но рухнувший Атлант вскоре вновь восстает из-под обломков, и скоро «новое небо» вновь становится небом старого мира. Величайший в мире духовный переворот христианства оказался бессильным разрушить старые кирпичи Рима, старые кирпичи мира.

Не будет ли и ныне повторения этого пятого акта вечно новой мировой драмы? Не будем предсказывать: мы лишь вступаем в пролог мирового переворота. Но ясно одно: безумно было бы недооценивать силы врага.

Когда поэт срывает с Атланта маску, когда под ней оказывается не полубог, не сын титана, не брат великого Прометея, не отец Плеяд, а мировой «буржуй на перекрестке» — поэт прав, он разоблачает старого мирового обманщика, всесветного мещанина в мантии титана.

Но когда старый мир этот, в образе «безродного пса», ковыляет, поджав хвост, за державным шествием мира нового, — я не верю ему, ибо слишком хорошо знаю его силы. И поэт знает их еще лучше меня. Это только для немногих ослепленных глашатаев новой благой вести может казаться, что старый мир уже побежден, что «жметса шерстью жесткой поджавши хвост паршивый пес»... Нет, поэт хорошо видит, что злобно «скалит зубы волк голодный», что от него штыком не отмахнешься, что он, ковыляя позади, ждет только минуты, когда можно будет наброситься и растерзать носителей мира нового.

Пусть не титан, пусть «буржуй на перекрестке», но он во всеоружии выступает теперь против нового мира. Он временно «поджал хвост» только в России, где социальная революция уже обрушила своды из старых кирпичей; мы знаем, что рухнут эти своды и в остальном мире, не могут не рухнуть. Но пока западноевропейский «буржуй на перекрестке» напрягает все силы, чтобы удержать на месте старое небо, пока он подпи-

рает его горами трупов, себе уже на погибель, пока великая русская революция не стала великой революцией мировой — до тех пор перед нами в новой форме возникает старая проблема о России и Европе, и мы от благой вести «Двенадцати» переходим к историческому вопросу современности.

«Двенадцать», несмотря на весь свой черный фон, на грязь, на кровь, на злодеяния, захватывает тему мировой революции в сфере настолько высокой, что она недоступна для исторических интересов сегодняшнего дня. Опять сравню эту поэму с «Медным всадником», произведением слишком глубоким, исполненным над-исторических прозрений и потому не отвечающим на ряд исторических вопросов современности. Но ведь у Пушкина, кроме «Медного всадника», есть почти тогда же написанные, глубочайшие по мысли произведения захвата исторического: «К тени полководца», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». Там — над-исторические прозрения, здесь — исторические воззрения.

Так и у Александра Блока. Если поэму «Двенадцать» мы поставили в ряду «Медного всадника», то в ряду «Клеветников России» надо поставить его вслед за «Двенадцатью» написанных «Скифов».

8

«Скифы» с новой силой ставят старый вечный вопрос — о Востоке и Западе, о России и Европе. Не раз русские поэты и художники (еще от «Слова о полку Игореве»!) вплотную подходили к этой теме, не раз за последние сто лет ставили они лицом к лицу две мировые силы, которые должны либо столкнуться и погибнуть под развалинами старого мира, либо слиться и воскреснуть в мире новом.

Замечательнейший из всех русских романов последних десятилетий, «Петербург» Андрея Белого всецело посвящен этой же теме¹³. Но если мы ограничимся только «поэтическими манифестами» крупнейших поэтов, то от «Клеветников России» до «Скифов» мы увидим твердые вехи, определяющие собою путь русского поэтического самосознания.

И если мы пройдем мимо поэтов второстепенных, вроде Хомякова, то путь этот наметят нам прежде всего Пушкин («Клеветникам России») и Тютчев («На взятие Варшавы»). От этих громадных произведений 1831 года, через более мелкие вехи славянофильской «историко-философской» поэзии, мы придем

в конце XIX века к «Панмонголизму», «Дракону» и «Ex oriente lux» Вл. Соловьева, и далее, в прямой преемственности от Вл. Соловьева, — к «Скифам» Александра Блока.

Пушкин, Тютчев, Соловьев, Блок — вот характернейший путь русского поэтического сознания за последние сто лет в вечном вопросе о России и Европе, или еще шире — о Востоке и Западе.

Когда появилось пушкинское «Клеветникам России», то Чаадаев, автор написанных на ту же тему о Западе и Востоке «Философических писем» (хотя и совершенно в иную сторону заостренных), увидел — один из немногих! — всю глубину исторического захвата этого произведения, казавшегося тогдашним либералам только «ура-патриотическим». Либеральный болтун (а потом болтливый реакционер) кн. Вяземский негодовал на Пушкина за эти «шинельные стихи», другой либеральный болтун, Ал. Тургенев, «защищал» Запад и иронически уговаривал Пушкина: «Голубчик, съезди ты хоть в Любек»... И лишь один Чаадаев понял всю историческую глубину пушкинского захвата: «Удивительны стихи к врагам России!.. В них больше мыслей, чем было сказано и создано у нас в целый век»...¹⁴

Мысли эти — твердо поставленный вопрос о Востоке и Западе. Восстание Польши — это для поэта только внутренний, «восточный» вопрос, «спор славян между собою», вопрос, которого Западу не дано разрешить. В восточном, русском море должны слиться все «славянские ручьи», и если на пути слияния плотной стоит Польша — она должна быть сломлена. Запад шумит, Запад негодует — пусть: это vox et praeterea nihil!¹⁵ У Востока, у России — свои задачи, и нет силы, которая бы стала на их пути.

В чем эти задачи? — Искупить русской кровью «Европы вольность, честь и мир». Так было уже при конце Наполеона. Так было и много раньше — при татарах. За сто лет до современного нам поэта Пушкин другими словами говорил о том же, о том, как мы века и века «держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы». В своем письме к Чаадаеву он ясно высказывает это. «...У нас своя особая миссия, — пишет он. — Россия своим громадным пространством поглотила победу Монголов. Татары не дерзнули перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отступили в свои пустыни — и христианская цивилизация была спасена»...¹⁶

Вот миссия России — в прошлом и будущем, так верит Пушкин. Вот глубокая основа его «шинельных стихов», его «патриотизма»; вот почему ждет и жаждет он слияния славянских

ручьев в русском море, вот почему восклицает он в «Бородинской годовщине»:

Куда отвинем строй твердынь?
 За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
 За кем останется Волянь?
 За кем наследие Богдана?
 Признав мятежные права
 От нас отторгнется ль Литва?

.....

Скажите, кто главой поник?
 Кому венец: мечу иль крику?
 Сильна ли Русь?

.....

Победа! Сердцу сладкий час!
 Россия, встань и возвышайся!..

Ибо у России этой — есть вечная мировая миссия к Европе. И пусть тогда еще не думал поэт о новой возможной «монгольской опасности», пусть тогда еще велико было историческое расстояние «от потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая», пусть было в поэте и разочарование в европейском либерализме (*vox et praeterea nihil!*) — но «скифские» темы глубоко заложены в этих его исторических стихах. Это «скифство» хорошо подметил в нем, хотя и с другой точки зрения, либеральный Ал. Тургенев. «Пушкин варвар в отношении к Польше, — писал он, — варвар, как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства»...¹⁷

Да, в этом все дело: «Патриотизм, как он его понимает»... Не квасной официальный патриотизм двигал Пушкиным, не «шинельные стихи» написал он, а первый поэтический, пророческий манифест России — Европе, Востока — Западу. Миссия России была в его глазах — государственной, национальной, и он выразил это в своих исторических стихах, в которых было «больше мыслей, чем было сказано и создано у нас в целый век»...

В те же дни было написано и тютчевское «На взятие Варшавы», впервые увидевшее свет лишь полувеком позднее. Здесь новое углубление все той же темы, здесь новое понимание «мис-

сии» России — и здесь с самого же начала резкое отграничение от всех толкований «шинельного» патриотизма:

...прочь от нас венец бесславья,
 Сплетенный рабскою рукой:
 Не за коран самодержавья
 Кровь братская лилась рекой.
 Нет, нас одушевляло в бой
 Не чревобесие меча,
 Не зверство янычар ручное
 И не покорность палача!

Нет — «другая мысль, другая вера у русских билася в груди»... Эту мысль, эту веру лет двадцать спустя, в 1848 г., Тютчев с замечательной ясностью выразил в своей статье «La Russie et la Révolution».

В Европе уже давно (с 1789 года) стоят лицом к лицу, говорит Тютчев, только две реальные силы: Революция и Россия. Быть может, завтра между ними начнется смертная, последняя схватка. «Между ними не может быть ни переговоров, ни перемирия. Жизнь одной — смерть другой. От исхода этой борьбы, величайшей борьбы, когда-либо бывшей в мире, на долгие века определится вся политическая и религиозная будущность человечества»...¹⁸

Да, подлинно — величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева! Одно только: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда — Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь — старая Европа стоит на той же страже против революционной России...

И еще одно: Тютчев хорошо видел связь между мировой Революцией, которая пришла в мир, и той духовной революцией, которая пришла в мир двадцать веков тому назад. Он думал, что обе революции эти друг другу враждебны, что «прежде всего Революция есть антихристианство», что «дух антихристианства есть душа Революции, в этом ее подлинный, отличительный характер». И в этом он опять был прав, если противопоставлял духовную революцию — физической, нравственную революцию — социальной. Так или иначе, но оплотом первой он видел Россию, очагом второй — Европу. А если так — то вот она, мировая миссия России, вот вера, которая бьется в его груди:

Славян родные поколенья
 Под знамя русское собрать

И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать...

И уже отсюда — мечты о мировом владычестве России, мечты (впоследствии так «шинельно» опошленные!) о щите Олега на воротах Царьграда: «Вставай же, Русь! Уж близок час! Вставай, Христовой службы ради! Уж не пора ль, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде?» Отсюда уже пророчества о великом русском государстве с «семью внутренними морями» и с семью великими реками: «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная»...

Вот царство русское... и не пройдет во век;
Как то провидел Дух и Даниил предрек...

Здесь миссия России не только национальная, не только государственная, как это было у Пушкина: миссия эта становится уже религиозной. Ибо миссия эта — борьба с «антихристовой» Революцией.

10

Славянофильские поэты измельчили и опошлили глубокие воззрения Тютчева. И лишь через три четверти века русский поэт, духовно близкий Тютчеву, но неустанно боровшийся со славянофилами, сделал еще шаг в том же направлении; национальную, государственную, религиозную миссию России он провозгласил апокалиптической. Это был Вл. Соловьев.

Когда он в 1895 г. писал «Панмонголизм», а в 1900-м — «Дракона» и «Три разговора», то пушкинский стих о потрясенном Кремле и стенах недвижимого Китая перестал уже соответствовать действительности. Скорее, наоборот, историческая мысль могла лететь «от стен недвижимого Кремля до потрясенного Китая», но зато прежняя мысль Пушкина об «антимонгольской» миссии России получала особую остроту и силу.

И тютчевское противопоставление России и Революции потеряло свое значение: слишком стало ясно, что путь России и Европы в этой области — общий, одинаковый, ибо революции не избежать ни Европе, ни России. Но зато с тем большей силой прозвучала для Вл. Соловьева тютчевская мысль о религиозной миссии России: да, велика эта миссия, но не в излишней борьбе с Западом, а в неизбежном столкновении с «мировым нигилизмом» Востока. Ибо с Востока надвигается «панмонголизм», ко-

торому, быть может, дана будет власть пожрать европейскую культуру, христианскую цивилизацию, однажды уже спасенную для Запада Россией. «Россия поглотила победу Монголов», — сказал Пушкин. Поглотит ли она их и в будущем, или сама вместе с Европой будет поглощена? В этом для Вл. Соловьева были скрыты апокалиптические судьбы мира.

Надвигающееся на Европу «монгольство» — для него есть подлинный апокалиптический Дракон; и с жутким чувством ожидает он его прихода — да совершатся судьбы России, Европы, мира...

Панмонголизм! хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно...¹⁹

В России исторически и мистически пересекаются эти судьбы Запада и Востока; в панмонголизме, паннигилизме — пересекаются судьбы Европы и России. Десятилетием позднее все эти мысли положил в основу своего романа «Петербург» один из духовных наследников Вл. Соловьева, Андрей Белый. Там у него в туманной ночи пролетает мимо Медного всадника автомобиль «с желтыми монгольскими рожами»; но — «раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, Медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение... Брань великая будет — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогряют поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка! Куликово поле, я жду тебя!..»²⁰

Так говорит ученик — так говорил и учитель. Он ждал победы апокалиптического азиатского Дракона над христианской Европой, он предсказывал России: «желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен»²¹. Он звал Россию к соединению христианства Запада и Востока (ибо «свет, исшедший от Востока с Востоком Запад примирил»), он звал к этому для совместной борьбы с мировым нигилизмом «монгольства», грядущего войною на мир. В этом — апокалиптическая миссия России...

И когда в 1900 году все европейские «великие державы» соединились для «карательной экспедиции» в Китай, и Вильгельм II произнес по этому поводу одну из самых каннибальских речей, какие только сохранила нам от «великих людей» история, — Вл. Соловьев, на пороге смерти, восторженно приветствовал этого своеобразного «Зигфрида» наших дней...²² Россия и Европа, Восток и Запад шли вместе, рука об руку против

Азии, мирового Дракона! Так решался вековой вопрос о Западе и Востоке — и что за беда, если во имя Христа и креста шли расстреливать китайского Дракона из пушек и пулеметов! Не беда:

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоём булате
И речь грозящая — свята.
Полно любовью Божье лоно,
Оно зовет нас всех равно...
Но перед пастию Дракона
Ты понял: крест и меч — одно.

Если бы мог предвидеть Вл. Соловьев, что не пройдет пятнадцати лет, как и Европа, и Россия, забыв про Дракона, разделится на два стана для смертельной схватки обманутых старым миром европейских народов! «И мглою бед неотразимых грядущий день заволкло»...

11

Война вновь остро поставила вечный вопрос о России и Европе. Ибо хотя Россия и вошла «в семью великих демократических стран Запада» — но разве это поверхностное англо-франко-русское военное соглашение хоть в малой мере решало глубокие вопросы Пушкина или Тютчева?

Ибо ведь и Запад разделился сам на себя. Мало того, каждая страна Запада разделилась надвое, разделилась и Россия: давно уже прошли пушкинские времена кажущегося «единства национальных интересов». Что же касается не наций, а государств, то противопоставление Европы России сохраняло и здесь весь свой смысл — смысл и социальный, и духовный.

А когда из войны родилась революция, и прежде всего революция русская, — снова прежний вопрос о Европе и России неотвратимо стал перед сознанием. Но до чего же переменялся облик этого вопроса, до чего сместились его грани, до чего перевернулось его содержание! Для Пушкина миссия России была государственной и национальной, — для революции миссия эта внесударственна и интернациональна. Для Тютчева задача России была исключительно направлена к защите «христианства» от безбожной революции, — задача последней, наоборот, вместо духовного и нравственного переворота произвести спер-

ва переворот в мире физических и социальных ценностей. И если раньше Россия стояла на страже старого мира против революционной Европы, то теперь, наоборот, — старая Европа стоит на страже против революционной России. А апокалиптическая миссия России Вл. Соловьева для революции получила совсем иной смысл: Дракон оказался пока внутри каждой страны, и подлинно борьба с ним — тяжела...

Вот нити поэтического сознания, дошедшие от Пушкина до наших дней, по вечному вопросу нашей истории: Россия и Европа. Вопрос остался в прежней силе, но при глубочайшем внутреннем своем изменении. Оформить это новое сознание в поэтическом творчестве выпало на долю Александра Блока, ближайшего духовного ученика и преемника Вл. Соловьева. Его «Скифы», не приведенные в связь со всем прошлым, были бы нам малопонятны, как случайное явление русской литературы; теперь же мы их поймем не только самих по себе, но и в их связи с теми истоками, которые мы только что проследили.

12

Когда маленькие люди язвят большого поэта за то, что он теперь, в грозе и буре мировых событий — не в их утином стаде, что он чему-то «изменил», что он «вдруг» стал духовным, политическим и социальным «максималистом», — то это просто вздор, незнакомство утино стада с творчеством того самого поэта, которого оно так глубокомысленно судит. Ибо еще в 1905 году поэт бросил этому стаду негодующее свое слово: «Сытые»...

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

А когда пришла в те дни революция и попробовала «углубиться» после политического сдвига 17-го октября, то случилось то самое, что в неизмеримо более широком захвате повторяется теперь, в наши дни:

Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.
Так — негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий,
 Их дом стоит неосвещен,
 И жгут им слух — мольбы о хлебе
 И красный смех чужих знамен!..

Это было написано в 1905 году, но не относится ли и к 1917 году? И уже тогда видел поэт, что если даже и совершится во всей своей полноте революция политическая и только политическая, то ни одно звено мировой змеи старого мира не будет еще раздавлено, человек еще не будет освобожден. И в самый день 17 октября 1905 года писал он в своем поэтическом дневнике:

И если лик свободы явлен,
 То прежде явлен лик змеи,
 И ни один сустав не сдавлен
 Сверкнувших колец чешуи²³.

Понятно отсюда, что и в 1917 году не мог поэт очутиться среди утино стада и среди мещан социализма; понятна его связь со «скифством», с духовным максимализмом; понятны поэтому и его «Двенадцать» — неизбежное следствие всего его прошлого поэтического сознания.

Понятны теперь и «Скифы» его; ибо еще раз повторю: что же есть «скифство», как не духовный максимализм, выраженный в условном символе? Это — духовно; но и исторический захват «Скифов» Ал. Блока намечался уже в давнишних его произведениях, посвященных России.

В минуты духовного уныния казалось ему, что Россия — только «сонное марево», что пора с ней «разлучиться, раскаться», повернуть на Запад и забыть про Русь, где «Чудь напустила да Меря намерила гатей, дорог, да столбов верстовых»... И с сожалением, в духе тютчевском, говорил он о ней: «Лодки, да грады по рекам рубила ты, но до Царьградских святынь не дошла»...²⁴

Но это бывало у поэта лишь минутным настроением. И в цикле стихов «На поле Куликовом» мы слышим иные, постоянные, мотивы, отзвуки которых перед нами теперь в «Скифах».

О, Русь моя! Жена моя! До боли
 Нам ясен долгий путь!
 Наш путь — стрелой татарской древней воли
 Пронзил нам грудь.
 Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
 В твоей тоске, о Русь!
 И даже мглы — ночной и зарубежной —
 Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
 Степную даль...

И пророчески видел он в прошлом и будущем России — «Куликово поле», на котором решается участь и Запада и Востока: «Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар»... И чувствовал он, что впереди еще будет решаться эта участь — и звал, и ждал пришествие этого часа:

Не может сердце жить покоем,
 Недаром тучи собрались.
 Доспех тяжел, как перед боем.
 Теперь твой час настал. — Молись!

И вот теперь поэт видит, что в революции 1917 года — исполнились времена и сроки:

Вот час настал. Крылами бьет беда,
 И каждый день обиды множит...²⁵

И он пишет своих «Скифов», в которых так тесно переплетаются и прежние мотивы его поэзии, и вечные мотивы русской поэзии всего XIX века: еще раз и вплотную становится перед поэтическим сознанием вопрос о России и Европе, о Западе и Востоке.

13

Снова перед нами, подобный «Клеветникам России», бичующий поэтический манифест русского поэта, направленный на Запад, в лицо Европы.

Но до чего все изменилось со времен Пушкина и Тютчева за это столетие — в исторических судьбах Европы и России! Тогда староукладная государственность России стояла стражем против революционных движений Европы; теперь Европа подымает меч в защиту старого мира против революционной России...

Поэт, однако, идет дальше этого внешнего противопоставления. И в Европе реакционной, и в Европе революционной, в самом духе «пригожей Европы» он видит глубокую внутреннюю противоположность свойственного России духа «максимализма»:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
 С раскосыми и жадными очами!

И эта духовная «жадность» России, это ее «скифство» — непримиримо сталкиваются с выдержанным и внешне сильным «постепеновством» старой Европы. Она уверенно и умеренно веками плетет крепкую сеть своего «прогресса»; грома истории, «молния — кормчий» — ей чужды и непонятны. И в этом — вечное разделение Востока и Запада.

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плава наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Чтобы наставить пушек жерла!

Вот они лицом к лицу, два врага: новая Россия, с ее социальным и духовным максимализмом, с ее «скифством», — и старая Европа, которая кует, плавит, копит, считает сроки. Я говорю (и поэт говорит) о новой России и старой Европе, ибо хорошо знаю, что есть наряду с ними и иные силы — старой России и новой Европы, силы, по различным причинам, уже и еще исторически не действенные в годину великой русской революции. И не надо забывать, что именно в эту годину написаны «Скифы» — пламенное обращение поэта новой России к старому миру Европы, обращение «жадного» духовного «скифа» к европейскому мещанину.

Да, «скиф» — духовно «жаден»: эту черту когда-то Достоевский (преломивший Тютчева и родивший Вл. Соловьева) называл «всечеловечностью» русского человека²⁶. Да, «скиф» принимает все «эллинское» европейской культуры — «и жар холодных числ, и дар божественных видений», «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений», «парижских улиц ад, и венецянские прохлады, лимонных роц далекий аромат и Кельна дымные громады»... И все это для автора «Скифов» — не «самое дорогое кладбище», каким было оно для Достоевского, а подлинно живое, любимое, свое...

Два врага стоят лицом к лицу: русский, «скиф» и европеец, «мещанин», новая Россия и старая Европа. И если есть у России миссия, то вот она: взорвать изнутри старый мир Европы своим «скифством», своим духовным и социальным «максимализмом» — сделать то самое, что когда-то старый мир сделал в обратном направлении с духовным и социальным максимализмом христианства. Старый мир вошел в это «варварство» и взорвал его изнутри: он омецанил собою христианство. И вот

теперь миссия новой России — насытить духом максимализма «культурный» старый мир. Ибо только этот духовный максимализм, это «скифство» — открывают путь к тому подлинному освобождению человека, которое так и не удалось христианству, ибо само христианство «не удалось».

Вот та идея, которую вкладывает поэт в вековое, в вечное противопоставление России и Европы, вот то новое, что звучит в его поэтическом манифесте. Не государственное, национальное, религиозное ставится здесь вперед, а народное — поскольку можно говорить о народной душе России. И это не «славянофильство наизнанку», как могут подумать наивные люди, а полная его противоположность: ибо, повторяю, знает поэт, что «пригожая Европа» есть и в России (культурные либералы, мещане, социалисты), так же как и духовные «скифы» есть в Европе. Ибо «скифы», как и «мещане» — интернациональны. Но поэт обращается к старой Европе, к старому миру, ибо только эта сила (и в Европе, и в России) стоит теперь с мечом в руке против идеи великой мировой революции, начавшейся в 1917 году.

14

Россия — со знаменем социальной революции, Европа — под знаком либеральной культуры: встреча эта, встреча «скифа» и «мещанина», может оказаться смертельной. «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах?..»

Но пока — старый мир идет с мечом в руке, чтобы стереть с лица земли силу революции. Духовный максимализм он хочет задавить войной, мечом и огнем. Он думает, что легко ему справиться с этой вновь пришедшей в мир силой. Когда-то он взорвал «варварское» христианство изнутри, теперь он хочет задавить дикое «скифство» извне. Не слишком ли легко думает он справиться с исконным врагом?

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

«Россия — Сфинкс»²⁷. Какой? Не тот ли, о котором можно сказать, подражая ядовитой бутаде Тютчева:

Россия — Сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней...

Так ли? И не был ли загадкой ее тот самый «максимализм», сущность которого глубоко заложена в душе народной и который подлежит углубленному толкованию во всех сферах, затронутых в замечательных «манифестах» русских поэтов XIX века? И разгадкой не было ли всегда — у Пушкина, у Тютчева, у Вл. Соловьева, у Блока — одно и то же самое слово: *человек*? И не это ли слово, в области социальной, несет с собою русская революция 1917 года?

И против этого слова старый мир ощетиливается штыками, против идеи он выставляет пушку. Он думает, что на стороне революции — *vox et praeterea nihil* (как все переместилось со дней Пушкина!), он слишком уверен в своей силе, он не хочет остановиться в раздумьи пред Сфинксом. И голос русского поэта в эту минуту собирает, как в фокус, голоса тысяч и тысяч, обращенных лицом с Востока на Запад к тысячам неведомых братьев:

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

Это — призыв русского «скифа» к «скифам» западным, это — призыв русской революции (ибо «скифство» — есть революция) к революции мировой. И наши дни должны показать нам — будет ли отзвук на Западе этому голосу с Востока, удастся ли самому Западу победить в себе «мещанина» — «скифом». Если удастся — хотя бы через месяцы и ближайшие годы — то с уверенностью можно будет сказать: отныне — «революция удалась», и старый мир понес возмездие за то, что по его вине «христианство не удалось», не удалась величайшая в мире революция двадцать веков тому назад.

А если нет? Если на голос восточного «скифа» — на западе злобно и враждебно откликнется лишь «мещанин», силою задавивший вокруг себя своих западных «скифов»? Если даже и так — то вера наша, что победа его — временна, эфемерна, что пусть через года и года, но «скифу» на Западе суждена такая же победа, какая теперь была дана его брату на Востоке. За эти года восточный «скиф» будет, наверное, раздавлен своим же «мещанином», при помощи всех мещан старого мира, России и Европы. Но эта пиррова победа не будет продолжительна. Ибо нет той силы, которая могла бы стать на пути идеи духовного

максимализма, на пути благой вести о полном внешнем и внутреннем освобождении человека.

Но — еще раз: — а если нет?..

На это отвечает поэт второй половиной своих «Скифов».

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
Большое позднее потомство...

Ибо это «а если нет» — означает собою конец европейской истории и осуществление предвидений Вл. Соловьева, отказ от идеалов «миссии России» в понимании Пушкина и Тютчева. Это «а если нет» — есть гибель Европы и России в пасти азиатского Дракона.

15

Возвращаясь к историческим воззрениям Пушкина, к над-историческим прозрениям Вл. Соловьева, в ярких и образных словах вспоминает Ал. Блок о том, что

Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы!

Да — держали. Но если совершится непоправимое, если западный «мещанин», победив у себя дома, с оружием в руках пойдет на Россию искоренять ненавистное ему «скифство», то — не радуйтесь, европейские мещане!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Когда-то Пушкин, помним мы, полный идеей государственности и национальности, спрашивал, обратясь к Западу лицом: «Куда отдвинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, до Лимана?» Теперь поэт, пафос которого вненационален и внегосударственен, отвечает своему старшему собрату: нет, не до Лимана, а до Урала, ибо тогда мы «выходим из борьбы», отказываемся держать щит «меж двух враждебных рас, Монголов и Европы», отказываемся от этой пушкинской «миссии России»: пусть европейские мещане идут навстречу гибели!

Идите все, идите на Урал!
 Мы очищаем место бою
 Стальных машин, где дышит интеграл,
 С монгольской дикою ордою!
 Но сами мы — отныне вам не щит,
 Отныне в бой не вступим сами;
 Мы поглядим, как смертный бой кипит,
 Своими узкими глазами.
 Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
 В карманах трупов будет шарить,
 Жечь города и в церковь гнать табун,
 И мясо белых братьев жарить!..

Здесь апокалиптический Дракон Вл. Соловьева вступает в бой уже не с Россией и Европой, а лишь со старым миром Европы, победившим внутри себя восставшего «скифа». И этот «бой на Урал» — так ли уж невероятен он после всего, что мы пережили в наши невероятные времена?

И если бы в недавние минувшие дни новая Россия, «выйдя из борьбы», сумела не пойти на капитуляцию старому миру, а решилась идти до конца, «очищая место бою», хотя бы до Урала, зная, что сила ее не во внешнем оружии, а во внутреннем взрыве, — то не была ли бы победа ее впереди еще более вероятна, чем самое вероятное из свершающегося ныне?

Но не в этом теперь дело, а в последнем призыве поэта, которым он заканчивает своих «Скифов», это глубокое произведение русского поэтического сознания, завершающее собою ряд обращений русских поэтов к Западу и Востоку, к Европе и России:

В последний раз — опомнись, старый мир!
 На братский пир труда и мира,
 В последний раз на светлый, братский пир
 Сзывает варварская лира!

И мы верим, что эти призывы восточных «скифов» долетят раньше или позже — и пусть раньше, чем позже! — до «скифов» западных...

Так завершился круг от «Клеветников России» до «Скифов»: так, с другой стороны, спаялись звенья «Скифов» с «Двенадцатью». И звено, замыкающее их, — тот самый европейский мир, который, в образе Атланта, поддерживает ныне старое небо,

опираясь на старую землю. Землю эту вырывает из-под ног его русская революция, небо это она стремится обрушить на его же голову.

«Двенадцать» и «Скифы» являются в литературе глубоким отражением происходящего в жизни — в этом их право на самое пристальное наше внимание. В области русской поэзии давно не было ничего, что могло бы по силе и глубине сравняться с этими произведениями. Аналогий ищешь в «Медном всаднике», в «Клеветниках России»; а тот, кому аналогии эти кажутся преувеличенными, — добросовестно может отойти в сторону от русской поэзии: она не про него писана.

А теперь, от произведений поэзии переходя к преломляемым ею лучам жизни, — еще раз повторю: лучи эти соединяются, через революцию, в «последний суд огнем». И этот последний суд — для всего и для всех является последним испытанием. В огненной грозе и буре должны распасться старые кирпичи, должны закалиться новые мечи, проводящие нас в мир новый. В буре пожаров надо суметь увидеть то новое, то над-историческое, что таится перед нами в пыли, грязи и крови. Отвратительны часто внешние формы нового, еще духовным огнем не закаленного, — и так легко за тусклой формой не увидеть светлой сущности. Но пусть не видят этого тяжковейные мещане — видят это зато творцы и поэты. Ибо, подлинно, для них — «молния — кормчий».

Два этих вечных стана вечно разделены в жизни друг от друга, как разделены они и в гениальных прозрениях Гёте. Для мировых мещан («Сирен» второй части «Фауста») — ужасно и безумно мировое землетрясение: «каждый благоразумный — торопись прочь от него!»

Dort ein freibevegtes Leben,
Hier ein ängstlich Erde-Beben:
Eile jeder Kluge fort!
Schauerhaft ist's um den Ort...²⁸

Да, поистине — «ужасно в этом месте» для всесветных мещан! Но среди этого, невыносимого для них, детей старого мира, испытания в грозе и буре — окрыляется дитя Эвфорион, провозвестник мира нового:

Dort! — und ein Flugelpaar
Faltet sich los!
Dorthin! Ich muss! Ich muss!
Goimt mir deo Plug!²⁹

И пусть, как новый Икар, разобьется он в своем полете — что до того! «Jammer genug!» Да, поистине — «довольно стенаний!»³⁰ И от русского поэта слышим мы то же: «Не плачьте! склоните колени, туда, в ураганы огней!»³¹

В урагане огней, в грозе и буре идет в мир великая благая весть. Подлинно мировым землетрясением и пожаром было «рождение в ясли»³² двадцать веков назад! Недаром поспешили прочь от него все «благоразумные» старого мира. Но убежать было нельзя — они вернулись и затушили своей муравьиной лавиной разгоравшийся в мире пожар. «Как бы хотел Я, чтобы он разгорелся»!..

И вот, в урагане огней, спустя двадцать веков, снова идет в мир благая весть. И снова бегут «благоразумные» — мы же должны пройти через это испытание в грозе и буре, хотя бы оно и испепелило нас: «Нет исхода из вьюг — и погибнуть мне весело» (Ал. Блок)³³. Но испепелит оно и старый мир, сорвет маску с всесветного мещанина Атланта и даст в будущем победу «скифу», пронесшему в Новый мир — «эллина» Эвфориона.

То, к чему мировая история придет в грядущем, мировая поэзия дает нам в настоящем. Припадая к ее истокам — чувствуешь себя у ключа воды живой и ясно провидишь, как на мировом перекрестке будет, будет стоять «печальный, как вопрос», всесветный мещанин, ныне еще властелин старого мира, разоблаченный титан, былой миродержатель Атлант.

